БОЛЬШАЯ
КНИГА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
НОВАЯ
ПРОЗА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминание о жизни МНС в Москве в начале семидесятых.

Эссе из сборника современной прозы «Большая книга победителей», куда вошли новые рассказы и эссе всех лауреатов российской литературной премии «Большая книга». Сборник издается к десятилетнему юбилею премии.

- Александр Кабаков
  -

Александр Кабаков
Мюр и Мерилиз

Ну, нет во мне жесткого диска, на котором компьютер сохраняет любой вздор в первозданном виде и почти неограниченном размере, как вся государственная библиотека, бывшая Ленинка.

К слову, насчет библиотеки: поразительное это было место — Ленинка!

Я спускался по лакированной узкой лестнице из научного или так называемого профессорского зала. Привилегированный доступ был получен без всяких оснований, исключительно в результате какой-то, уж не помню какой, лжи.

В холодном подвале, миновав курилку, в которой к середине дня воздуха оставалось на один неглубокий вдох, я входил в буфет-столовую. Там за гроши подавали совершенно несъедобный обед, вполне, впрочем, устраивавший оголодавших аспирантов. Там же продавались по шесть копеек штука жареные пирожки с повидлом и за пятиалтынный кофе со сгущенным молоком, слегка разогретый в гигантской кастрюле, из которой в граненые стаканы его разливали половником. Впрочем, такой (такое) кофе даже в Ленинке заслуженно назывался не «разогретый», а «разогретое».

После двух пирожков и стакана серовато-бежевого напитка можно было продолжить «библиотечный день». Например, в «Иллюзионе» на Котельниках — там крутили, допустим, «Касабланку». Или «Дилижанс» («Путешествие будет опасным»). Привычка к дневному безделью, сохранившаяся со времен недавнего студенчества, гнала как можно дальше от физико-математической периодики. Официальным же оправданием библиотечного дня был поиск уже, вероятно, созданного хитрыми американцами алгоритма определения координат некоторого отрезка прямой по его расположению относительно трех (четырех, пяти и т. д.) точек. Естественно, речь шла об ориентировании по звездам разведывательных спутников и разделяющихся головных частей межконтинентальных ракет. Нетрудно догадаться, что алгоритм моими усилиями прирожденного гуманитария и неисправимого лентяя найден не был. А сослуживцы так надеялись на меня! На себя они давно уж не надеялись и большую часть рабочего времени отдавали приработку, то есть писанию за деньги — небольших курсовых и дипломов для еще не доучившихся остолопов. Доучившись,

остолопы превращались в таких же халтурщиков и писали дипломы, а то и диссертации для следующего поколения безымянных тружеников нашего военно-промышленного комплекса… Впоследствии оказалось, что проклятый алгоритм не был найден и всемогущими американцами. Системы ориентирования, и американские, и наши, принятые в семидесятые годы на вооружение, были построены на совершенно других принципах, затрудняюсь объяснить, каких именно. А тогда, в конце шестидесятых, потерпев поражение в схватке с ориентированием (детали этой битвы вспоминаются неточно), я окончательно ушел из ракетных младших научных сотрудников в старшие литсотрудники той распространенной в советских редакциях породы, которая на службе изготавливала гимны соцсоревнованию, а по ночам ваяла нетленку в стол.

К слову, насчет нетленки: в тот день я послонялся по улицам и вместо «Иллюзиона» пошел в «Повторку» у Никитских — на «Жил певчий дрозд».

Шедевр Иоселиани меня огорчил — внезапная судьба веселого бездельника навела на неприятные мысли о собственной перспективе. Расстроенный, я пнул залипшую дверь входа-выхода из кинозала и услышал за нею тихий писк, увенчавшийся стуком, — можно было не смотреть, и так было ясно, что упало тело. Сзади на меня напирала интеллигенция, потрясенная очередным торжеством прогрессивного грузинского кинематографа.

Я помог девушке встать, промокнул своим носовым платком (на счастье, сравнительно чистым) кровь с весьма существенной царапины на лбу и пошел провожать домой пострадавшую по моей вине.

Дальше — только отдельные картинки.

Дом на сверхноменклатурной улице Алексея Толстого — как теперь называется? забыл — из желтого кирпича, с дубовыми оконными рамами.

Консьерж с тяжелым служивым лицом в крупных глубоких складках.

Темная прихожая.

Уходящий в глубину невиданного жилья бесконечный коридор.

Огромная комната в коврах, гигантских плюшевых медведях, зеркалах в рост.

Стереосистема Philips, серебристая пластмасса и полированное дерево колонок, целая полка дисков, джаз и блюз, мой любимый Ray Charles, как будто специально.

Не бойся, дедушка и бабушка на даче, а папа с мамой в

командировке, они будут в Нью-Йорке до осени, мы можем завтра в их квартиру пойти. А сюда горничная придет только в восемь утра, не бойся.

Голова кружится?

Чепуха, уже все прошло. Жалко, фильм не посмотрела, пойдешь завтра снова, со мной?

Пойду, а кто твой дедушка?

Неважно, потом. Раздевайся.

Раздеваюсь.

Она была на пять лет младше и гораздо опытней.

Перед тем как заснуть, она написала номер телефона на блокнотном листке и положила его поверх моей раскинувшейся в кресле рубашки.

Я ушел в семь.

Без колебаний я стряхнул голубоватый листок на пол. Конечно, ее дедушка мог устроить меня на любую работу. Но я уже был до этого зятем, и жил в номенклатурной квартире, и уходил из нее, положив ключ на подзеркальник и захлопнув дверь навсегда.

Мне хватало этих воспоминаний.

Меня тошнило от них.

Консьерж открыл глаза и прищурился, изготовившись к команде «огонь!».

Недавно политый асфальт на улице был почти черным.

Певчий дрозд покосился на дверцу клетки и взлетел, поджимая ноги, будто убирая шасси…

К чему я это вспомнил? Не знаю. Знаю только, что есть несколько эпизодов в долгой и уже почти полностью прожитой жизни, которые я вспоминаю чаще других. Раннее утро однажды в начале семидесятых, на пустой улице Алексея Толстого, как раз из таких эпизодов. Не то чтобы девушка с налившейся за ночь шишкой на лбу была так уж хороша, или меня возбуждала замаячившая квартира уже не генштабовского, а политбюровского класса. И нельзя сказать, что безумной страстью была полна ночь среди плюшевых медведей под требования Рэя Чарльза «Зажги мой огонь!» — мой огонь горел не слишком жарко.

Но помню все отчетливо, будто кино смотрю.

Или мне кажется, что помню.

К слову, насчет памяти: предмет рассказа, к которому теперь, наконец, приступаю, я уже использовал по крайней мере дважды, в «БЂГЛЕЦЕ» и — мимоходом — в «КАМЕРЕ ХРАНЕНИЯ».

Через двадцать примерно лет после той ночи за уличными столиками в парижском кафе выпивала большая компания

«прорабов перестройки», все бывшие внутрипартийные диссиденты, и я, приписанный к ним в качестве «дитяти перестройки», ее нечаянного порождения. Все мы приехали на какую-то конференцию — примерно такую: «Конец империи зла и начало всеобщего счастья». Прибился к нам и великий режиссер, уже давно переселившийся во Францию. Нашу диковатую компанию он рассматривал с откровенным изумлением. Я ляпнул что-то льстивое насчет певчего дрозда, он молча пожал плечами…

Почему тут, в этом тексте, воспоминание о гениальном фильме очень кстати?

Потому что дня через три после той ночи, которая наступила после сеанса в «Повторке» и сменилась прохладным утром на улице Алексея Толстого, — Спиридоновка, вспомнил! Спиридоновка, конечно, в начале которой стоит дом Рябушинского, подаренный Сталиным Горькому, в котором я однажды, задолго до перестройки, выпивал в большой журналистской компании, которую привел родственник пролетарского писателя, журналист одной из московских газет, и мы свалили наши плащи на резные деревянные фигуры, стоявшие у лестницы на второй этаж (а однажды после перестройки я выпивал на даче Пастернака, но это не имеет отношения к рассказу), — так вот, дня через три как раз после той ночи мне позвонил один знакомый и сообщил интересную вещь… Тут, собственно, только и начинается рассказ, за который я все принимаюсь, да никак не примусь.

Итак, вот отрывок из моего микроромана «БѢГЛЕЦЪ»:

ОТДѢЛЕНІЕ МУЖСКИХЪ ШЛЯПЪ И ФОРМЕННЫХЪ ФУРАЖЕКЪ.
484. Шапки каракулевыя черныя—20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 35 р., изъ выхухоля электр. подъ котикъ 14 р.50
515. Шапки каракулевыя черныя—22, 24, 2., 28. 30, 32, 34 и 36 р.
513. Шапки каракулевыя, черныя, фасонъ Пушкинъ—20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 35 р.; подѣлъ. котикъ, изъ выхухоля электрич. 14 р. 50 к.
464. Шапки, фасонъ Малороссійскій, каракулевыя черныя—18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 35 р., изъ крымской овчинки свѣтло-сѣр.—10 р. —к., изъ поддѣлки, котикъ кроликовый—6 р. 25 к., изъ выхух. электрикъ—11 р. 50 к., изъ выхоля крашен. подъ соболь—8 р. 25 к., изъ искусствен. барашка черн. и сѣр.—5 р. 35 к.
514. Шапки, фасонъ Боярскій, изъ выхухоля, крашеного подъ соболь—9 р. 75 к.
516. Шапки, фасонъ Мономахъ, оконышъ изъ выхухоля, крашен. подъ соболь, верхъ изъ выхухоля подъ котикъ—12 р. 85 к. Тоже вся изъ выхухоля подъ котикъ—14 р. 50 к.
499. Шапки изъ черн. каракуля—22, 24, 26, 28, 30, 32 и 35 р., изъ выхоля подъ котикъ 14 р. 50 к.

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО
ВНѢ КОНКУРЕНЦІИ.
7810. Платье . . . . 6 р. 50 к.
7811. Капотъ . . . . 7 „ 50 „
7812. Блузка . . . . 2 „ 50 „
Вещи эти сдѣланы изъ бумажной вигонь, цв. синій, зеленый, электрикъ бѣлыми полосками.
Снятіе мѣрки см. на обложкѣ этого пр.-куранта.
Отдѣленіе дамскихъ платьевъ см. стр. 52.

Каталог «Мюр и Мерилиз»

«В общем, мне сказали, что в Замоскворечье, в обычном двухэтажном особнячке, которых там сохранилось много, живет одна бабка, у ней всякой рухляди полно, и она за малые деньги ее сейчас распродает. Вроде бы она наследница состоятельного человека, до революции старшего приказчика у «Мюра и

Мерилиза». Когда грянуло то, что грянуло, приказчик от ужаса и отвращения быстро помер, и остались не богатая вдова-домовладелица с пятилетней дочкой на руках, как было бы прежде, а нищие обитательницы одной комнатки в мезонине. Деньги все пропали, серебряные сервизы, даренные в складчину рядовыми приказчиками старшему на юбилеи, быстро ушли в Торгсин, и дальше осталось только тихо голодать, моя полы у людей и в ближней градской больнице. К этому занятию лет с двенадцати присоединилась и дочь… А теперь вдова отошла к заждавшемуся на том свете супругу, дочери, уже тоже старухе, тридцатирублевой пенсии никак не хватает, хлеб и молоко подорожали с целью «упорядочения цен», вот и распродает она всякую ерунду, которую мать хранила, возможно, как доказательство того, что некогда, давным-давно, действительно была жизнь. Да раньше, в более суровые коммунистические времена, и охотников на старье не было, а в последнее спокойное время появились чудаки… Среди прочего, сообщили мне, сохранился у старухи каталог «Мюра и Мерилиза» за 1913 год, изумительная вещь, рассматривать можно часами, ничуть не беднее, уверяли меня видевшие, нынешних разноцветных западных каталогов, которые привозят сообразительные выездные и продают через букинистические по две сотни, а богатые дамочки покупают в качестве журналов мод. Все когда-то и у нас было не хуже — том на тысячу страниц тонкой гладкой бумаги, а в нем что угодно, выбор не меньше нынешнего парижского, только печать черно-белая…

Вот что мне рассказали приятели, такие же барахольщики, как я.

За этим каталогом я и пришел в пропахшую затхлой старостью комнатку под крышей облупившегося до дранки, некогда желтого особняка.

От дверей увидел: клад! И даже если бы я собирался до того, как увидел, все это скупить, передумал бы, не стал бы дурить бабку. Вещи прекрасные, даже павловского красного дерева диван, обитый вполне целым полосатым шелком, здесь уместился, и все это можно продать через комиссионку на Фрунзенской за многие тысячи. Бедная хозяйка сокровищ просто не знала, что может устроить себе действительно хорошую жизнь, а мои приятели, видно, тоже посовестились ее

обирать. У меня же мгновенно появился план — как старухе помочь и самому получить желаемое. С ходу я предложил ей выгодную нам обоим сделку: я помогаю ей организовать продажу всего, с чем она готова расстаться, привожу оценщика из магазина, грузчиков, добываю машину, а за труды хочу получить только каталог — ну, бесплатно, конечно. Выручит она большие деньги, вот, например, одна эта лампа стоит ее пенсии за год…

Признаюсь, был у меня соблазн попросить в качестве вознаграждения и еще что-нибудь, хотя бы немного мелкой бронзы, которой в комнатке было с тонну, но я сдержался — к тому, что не хотел беднягу грабить, добавилось и еще одно соображение: я помнил, что моя комната и так уже полна под завязку, а ведь придется переезжать… Каталог же, который я между тем уже осторожно листал, мог заменить целый музей! Сотни, тысячи прекрасных фотогравюр, каждую изучить жизни не хватит, и все там — от егеровского теплого белья и английских одеколонов до револьверов «бульдог», предлагавшихся «путешественникам и велоспортсменам», и кресел-качалок «из настоящего цейлонского бамбука». Огромный исчезнувший мир!.. Все, что меня привлекало, уместилось в этом тяжелом, прекрасно сохранившемся, будто его никогда не раскрывали, томе.

Но случилась беда. Мое полнейшее непонимание человеческой психологии дало результат, которого следовало ожидать: старуха насмерть испугалась. Переваливаясь на слоновьих ногах, похожая на ходячую большую грушу черенком кверху, она отошла в самый дальний угол комнаты и оттуда смотрела на меня так, как будто я собрался ее ограбить, а то и убить. От сделки она отказалась категорически, почему-то шепотом — возможно, решила, что я предлагаю нечто противозаконное. Зато — вот этого никак нельзя было ожидать — запросила дикую цену за каталог, сто пятьдесят рублей. Естественно, такой гигантской суммы у меня не было и быть не могло, рассчитывал максимум на четвертной. Торговаться я не умел, да от неожиданности и не стал пытаться.

Установилось нелепое молчание. Она умудрилась почти спрятаться в щели между скалоподобным комодом карельской березы и лакированной черной этажеркой, испуг ее не проходил. Сделав над собой усилие, я

положил каталог на стол, на пожелтевшую кружевную скатерть, со вздохом пробормотал что-то вроде «ну, как угодно, дело ваше» и шагнул к двери».

Вот как-то так — по нынешнему распространенному идиотскому выражению.

А теперь пора признаться — это все лишь литература, понадобившаяся мне из чисто художественных соображений.

В жизни все было совсем иначе. Я бросился по друзьям и знакомым, назанимал полторы сотни и выкупил у бабки каталог, неподъемную, мягко провисшую в руках книжищу с немного обтрепанными краями обложек. Поступок был гораздо менее безумным, чем может показаться: в толпе возле книжного на Кузнецком или у подножия Ивана Федорова на Дзержинке в случае крайней нужды можно было, насмотревшись, продать шедевр дореволюционной полиграфии за двести, а то и за триста. Однако расскажи я такую унылую коммерческую быль — не получилось бы авантюрного «БЂГЛЕЦА».

Не попробовал бы я силы в полной исторической стилизации;

не описал бы старение, выпавшее на смутные времена;

не насажал бы по тексту исторических ошибок, перенесенных из свидетельств современников и очевидцев, как обычно путаных;

и не дали бы мне за все это приз «Проза года» — тяжеленную бронзовую статуэтку с опасно острыми краями…

Чтобы жизнь стала увлекательной, обязательно надо приврать.

Хорошо придуманная ложь может превратить бытовую ситуацию в приключение, анекдот — в притчу, удачную сделку — в судьбу.

К слову, относительно ранних семидесятых: я жил тогда на улице Богдана Хмельницкого, до и после советской власти Маросейке.

Оба названия сейчас звучат сомнительно. По новым европейским меркам Богдан — предатель, а Маросейка происходит от унизительной для гордого украинского народа Малороссии. Но что ж делать? Улица старая, когда ее закладывали, принцип неизменности границ, установленных после WWII, еще не действовал, потому что WWII еще не было… Много чего нагородили предки. Взять хотя бы Пушкина с его клеветниками России и образом Мазепы… А уж Достоевского Федора Михайловича чего брать… Да и тот же Бродский…

Ну, не будем отвлекаться. Значит, я жил на Богдана Хмельницкого, в коммунальной квартире на десять семей. Стены

в доме были двухметровой толщины, так что на подоконнике, если оставался ночевать приятель, легко умещался матрас.

Лежа на нем, можно было наблюдать угол улицы Архипова (не знаю, как теперь называется), на которой стояла и стоит синагога. Возле нее собирались евреи «отказники», протестующие таким образом против попрания их права уехать на историческую родину (впрочем, многих устроила бы сразу Америка), и евреи, собравшиеся пока не уехать, а просто поговорить, и русские, ищущие еврейскую невесту («жена-еврейка не роскошь, но средство передвижения» — шутка)… Перед иудейской пасхой «песах» у синагоги собиралась особенно большая толпа, то и дело в ней кто-нибудь запевал блюз, известный миру в исполнении Луи Армстронга Let my people go. Речь шла об исходе из Египта, и к тирану певец обращался «фараон», но всем было понятно, кто тут фараон… Поэтому немедленно начинался ремонт мостовой и тротуаров улицы Архипова. По ней сверху вниз, от Хмельницкого к Солянке, начинали двигаться два в ряд катки, предназначенные для трамбовки асфальта. Никакого асфальта, кроме давно потрескавшегося и не ремонтировавшегося многие годы, вблизи, конечно, не было. Катки просто выдавливали толпу во дворы и закоулки, очищая пространство от сионистов. За рычагами сидели молодые крепкие мужчины с повязками дружинников на рукавах, но это никого не удивляло — инсургенты и власть играли в одну игру.

Опять отвлекся.

Катки шли, как танки.

Между тем я, не обращая внимания на современность, в которой нарушались права человека, погрузился в рассматривание старинных картинок и чтение древних рекламных текстов.

> «…однажды в руки мне попал каталог дореволюционного московского универмага «Мюр и Мерилиз» — ныне ЦУМ, а тогда первый в России магазин, торговавший по почте, предшественник интернет-магазинов нашего времени…»

Дореволюционный московский универмаг «Мюр и Мерилиз» — ныне ЦУМ

Это — из «КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ».

Не знаю, почему каталог исчезнувшей жизни раскрылся на странных предметах, называвшихся то «гетры», то «гамаши». Короткие голенища без ступни, ложащиеся внизу поверх ботинок и уходящие вверх по голеням. Удерживавшиеся штрипками. Тонкие кожаные, особо помеченные «изъ лайковой кожи», либо толстые суконные — с указанием «суконныя». Обычно серые, черные или белые. Постепенно, рассматривая одно предложение за другим, четыре страницы, я прояснил то, что поначалу вызвало недоумение — как гетры или гамаши носили в грязь: все были в галошах, и поверх простонародных сапог с голенищами гармошкой, и поверх лакированных штиблет сюртучного барина, и даже барышни в ботиках поверх ботинок… Так же самостоятельно сообразил насчет гамаш: от гетр они отличались наличием боковой застежки на крючках.

«…Надевает он гамаши — говорят ему: не ваши…»

Он был явно старорежимный, этот Рассеянный.

«…А приехал он назад, а приехал в Ленинград…»

Странный персонаж был придуман советским детским поэтом — приезжает нечаянно в Ленинград, носит барские гамаши, да

еще и чужие, значит, где-то поблизости еще такой же скрывается, мелкобуржуазный.

Стоили, судя по каталогу, в сгинувшие времена гетры и гамаши немало, если сравнить, например, с полноценными ботинками из шевра — до двух рублей с пересылкою на любой адрес внутри Российской империи. «Мюр и Мерилиз» торговал по почте, начавши этот бизнес едва ли не раньше знаменитых американских торговцев по почте Sears&Roebuck. В переделанной и достроенной штаб-квартире «Мюр и Мерилиз» находится теперь ЦУМ, Центральный универсальный магазин, при советской власти бессмысленно полупустой, а теперь бессмысленно дорогой. Предшественник же его был доступен существовавшему тогда среднему классу.

…Из улицы Архипова задним ходом выползли катки, с них слезли и как-то исчезли, растворились дружинники. Следом начали выходить на Хмельницкого и поворачивать к метро «Площадь Ногина» энергично жестикулирующие мужчины и женщины. Мужчины на ходу снимали с макушек кипы — круглые мелкие шапочки, приколотые к волосам дамскими шпильками-«невидимками»…

Тут я застрял на странице каталога, вся площадь которой была отдана детальнейшему фотоизображению часов. Часы лежали на белоснежной салфетке. На заднем плане видна была граненая рюмка, до половины наполненная рубиновой жидкостью. Сами часы представляли собой плоский цилиндр, сверкающий по ободу полированным серебром. В тонкие ушки был продет узкий, отчасти сохранявший форму запястья ремешок с маленькой пряжкой. Простые черные римские цифры обрамляли круг. Внизу, на месте шестерки, был циферблат маленький, с секундной стрелкой. А вверху, под красным числом «12», мелкими завитками тянулась надпись «Павелъ Буре». Стрелки в виде маленьких копий показывали пять часов, подпись к картинке была краткая и ясная: «Пора, господа!»

…Странные предметы, не существовавшие в окружающей жизни, возникали на тонких и гладких страницах.

Целлулоидные и картонные воротнички, которые следовало пристегивать к мужским рубашкам особыми эмалевыми запонками.

Часто простроченные во всех направлениях дамские корсеты, которые, будучи лишены телесного наполнения, напоминали скелеты морских чудовищ — смотреть, кто не видел, фильм «Левиафан».

Плетеные корзины для пикников с откидывающимися при открытых крышках полочками и с посудой из германского

грубого фаянса в гнездах.

Итальянские гармоники с колокольчиками и перламутровыми украшениями, сделанные любовью простого народа русским национальным инструментом.

Вдруг, на трех разворотах — варианты набора для путешественников.

Все те же гетры «для велосипедной езды» и на той же странице складные стаканчики в пандан к флягам, «чтобы промочить горло на пленэре», «шофэрские» перчатки с раструбами от запястья до локтя и клетчатые картузы из английской грубой шерсти, с козырьками спереди и сзади, известные во всем мире как «кепки Шерлока Холмса», а в остроумной России как «здравствуй и прощай», пледы из едва ли существующей на самом деле Исландии и занимавшее целую страницу шерстяное «егеровское белье для самой холодной погоды» не от слова «егерь», а от фамилии «Егер», плотного сложения господин в тугих кальсонах, обтягивавших выпуклые икры, гордо позировал перед зеркалом — возможно, это и был сам Егер, зеленовато-бежевые охотничьи, мужские и дамские, пальто-накидки с прорезями для рук из «ткани, пропитанной каучуком по способу мистера Макинтоша» и маленькие револьверы «велодог» бельгийского и американского производства для «защиты от сделавшихся дикими бездомных собак и опасных бродяг»…

Еле я расстался с «предложениями для господ путешественников».

Расстаться вообще с каталогом было невозможно.

Жизнь моя совершенно переменилась с появлением в ней этого мягкого тома, этого собрания соблазнов.

Я уже как бы не жил в 1972 году в Москве развитого социализма.

Как бы не ходил на службу в качестве бездарного сотрудника в секретный научный институт у Красных Ворот.

Как бы не выпивал в стекляшке поблизости в обеденный перерыв рюмку-другую дешевого коньяка — тогда это было еще возможно.

Как бы не закусывал там же кукурузной кашей с сардельками, а перед зарплатой как бы не ограничивался кашей.

Как бы не упрашивал сапожника в Армянском переулке починить в сотый раз единственные на лето и зиму ботинки, уже не поддававшиеся починке, — только за комнату в коммуналке я платил хозяйке треть научной зарплаты.

Как бы все это расплылось, растеклось, как часы у Дали.

Я прибегал домой, на Маросейку — благо от Красных Ворот пешком рукой подать и можно не тратить 4 копейки на троллейбус.

Жена уже жарила на общей кухне филе трески, покупавшееся гигантскими глыбами впрок. К нему шло болгарское лечо.

Запах жарившейся трески коммуналка терпела безропотно — другие ужины пахли не лучше. Чего стоила только квашеная капуста, которой питались многодетные Тимченки, — от ее запаха текли слезы.

Но я ничего не чувствовал.

На подоконнике лежал «Мюр и Мерилиз» осенне-зимнего сезона 1913 года, я сидел на табуретке перед подоконником, упираясь коленями в стенку, и видел подлинную жизнь.

По той жизни я шел, твердо ступая часто шнурованными ботинками тонкой и мягкой, но прочной кожи. Стоило выслать через «Мюр и Мерилиз» свою мерку и карандашный обвод ступни на листе бумаги кимрскому сапожному мастеру «Шугаев и братья», как всего лишь через месяц курьер торгового дома приносил коробку, плотно завернутую в темно-желтую крафт-бумагу. Ботинки нисколько не уступали знаменитым английским от John Lobb.

Поверх ботинок, из-под темно-серых (цвет назывался «маренго»), в узкую светло-серую полоску брюк мелькали упомянутые гамаши.

Брюки назывались штучными, то есть отдельно сшитыми, в отличие от костюмных, сшитых вместе с пиджаком. Костюм такой назывался «пиджачная пара».

А штучные брюки полагались не к короткому деловому пиджаку, а к сюртуку с ровными или полукруглыми («визитка») длинными полами. Из бытового названия следовало, что надевался сюртук для дневных торжественных случаев, для визитов. В отличие от фрака, надевавшегося вечером и называвшегося почтительно «полный костюм»… К тому и другому полагался низко открытый белый жилет из плотной, в рубчик, ткани «пике». Персонажи, над которыми издевались одесские весельчаки, носили пикейные жилеты постоянно и с чем попало ввиду полного обнищания, очень веселившего их авторов.

А мне нравились визитка и пикейный жилет под нею. Чтобы достать что-нибудь из внутреннего кармана сюртука, приходилось откидывать назад полу — карман располагался низко, над коленом. Вспыхивала на свету желтым сиянием плоская коробочка портсигара, и отвечал синей вспышкой камешек в запонке.

И серый (в отличие от черного, полагающегося к фраку)

цилиндр.

И светлый галстук широкой лентой (не бантом).

Господ, одетых таким образом, теперь можно увидеть на скачках в Аскоте или на свадьбах, в основном англосаксонских.

Там же появляются и дамы в кружевных шляпках или просто с перьями в качестве украшения прически.

Так что все перечисленное, включая дам и шляпки, сохранилось хотя бы в минимальных количествах.

А вот чего уже не увидишь почти нигде и никогда — мужскую трость. С набалдашником в виде «адамовой головы», то есть черепа, или головы собачьей, или головы же орлиной, или просто полированного шара из бронзы, кости, серебра, наконец…

У меня же имелась трость. С набалдашником-шаром из полированной кости, возможно слоновой. И я шел, слегка опираясь на нее, и вскидывая ее с наработанной ловкостью, и глядя поверх голов, поверх Маросейки имени Богдана Хмельницкого, поверх времени и отведенного для меня места во времени.

Впрочем, откуда у меня взялась трость? Не было у меня никакой трости.

Или была?

Словом, я тогда сошел с ума!

Хотя чем больше лет проходит с того позднего лета, тем тверже моя уверенность в том, что я был тогда более нормальным, чем сейчас.

Нормальная жизнь отодвигается, уходит все дальше в прошлое, меркнет, расплывается в дрожащем воздухе времени. Вот уже и весь прошлый век исчезает, стирается, бледнеет.

Возможно, все здесь рассказанное — не более чем выдумки про «Мюр и Мерилиз», про меня, про библиотеку и, конечно, про улицу Алексея Толстого. Или не выдумка, а точнее — литература.

Сам каталог куда-то делся, потерялся, исчез.

Был — и пропал.

Как пропадает весь «Мюр и Мерилиз» жизни вокруг, все ее подробности, мелкие предметы, детали нашего существования.

Остается только вспоминать этот каталог — страница за страницей.

Вспоминать.

Июнь — июль 2015, Павловская Слобода